

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ

ДУШИ

207 К 175-летию со дня
рождения И. КИРЕЕВСКОГО

ГОВОРЯ о своеобразии Баратынского, И. Киреевский сравнивал его музу с красавицей, отличающейся глубиной и поэтичностью, но скромной и сдержанной в манере поведения. «Толпа может пройти подле нее, не заметив ее достоинства, ибо в ней все просто, все соразмерно и ничто не бросается в глаза ярким отличием, но человек с душевной проницательностью будет поражен в ней именно теми качествами, которых не замечает толпа». В этих словах Киреевский очертил силуэт и своей собственной музы. Очертил скорее всего произвольно, не стремясь ни к какому авторскому самосознанию и рефлексии; просто в поэте критик подметил и оценил родственное себе.

Творческая манера Киреевского на редкость сдержанна и гармонична. Критик не любит вытверженных, привычных формул, избегает категоричности. И хотя эпитеты его предельно отчетливы, а сравнения необычайно смелы (он, например, замечает, что стих Языкова «живет огнем, как саламандра», а сны, сновидения уподобляет детям, которые «хватают все, что перед глазами»), в самой подаче сравнения или эпитета нет ни тени аффектации или наигрыша. Ровная, спокойная атмосфера разлита в статьях Киреевского, напоминая о медленном, но уверенном движении мелодии. Да и в самом деле: «аккорд», «внутренняя музыка чувствований», «клавиши, ударяющие в струны сердца», «атмосфера музыкальная и мечтательно просторная» принадлежат к излюбленным выражениям критика.

Но к Киреевскому применимо и то, что говорил он о трудности признания музы Баратынского. Критик, который работает на полутонах и строит свою статью по законам музыкального развития темы, не может рассчитывать на очень уж широкую популярность. Говорим это вовсе не для умаления критики как таковой, ибо громогласность и внятность — ее естественные атрибуты.

Тем не менее именно в последние годы положение с Киреевским заметно изменилось. Нет, не только в кругу литераторов и специалистов находит он глубоких ценителей (это было всегда) — в повседневном читательском обиходе, в широком литературном самосознании его присутствие ощущается все сильнее и отчетливее. И при неизбежном пороке популярности словно какая-то объективная необходимость все решительнее выдвигает его на авансцену литературы, заставляет задумываться над его историческими заслугами.

Ну, конечно же, главная заслуга критика обычно основывается на тех литературных явлениях, которые он первым — или одним из первых — понял или объяснил. Это своего рода открытия критика, которые можно было бы документировать, если бы в литературном мире существовало свое патентное бюро. Перечень открытий Киреевского не велик, но весом. Именно Киреевский писал о «беспременном усовершенствовании» Пушкина, о высокой простоте его последних творений — в годы, когда распространено было мнение, что поэт безнадежно отстал от жизни, а его талант исчерпал себя. Именно Киреевский дал самые глубокие для своего времени разборы Баратынского и Языкова. Это только главные открытия критика.

Говоря о заслугах Киреевского, можно было бы далее напомнить, что его новое слово о писателе или произведении всегда вливалось в общую мысль, в теорию. Киреевский был теоретиком в настоящем смысле этого слова, чуждым догматизму и вымученным построениям. Именно Киреевский одним из первых у нас заговорил о всемирной или, по крайней мере, всевропейской эволюции искусства, о поступательном развитии его художественных форм, проложив тем самым вместе с другими русскими критиками (прежде всего с Надеждиным) дорогу для исторических концепций Белинского.

И все же ни высказанное новое слово о многих писателях-современниках, ни новые историко-литературные концепции не объяснят нам пол-

ностью притягательности этого мыслителя. Многие словно заключено не в концепциях, а прячется за ними, в самом душевном складе Киреевского, в его отношении к материалу, к истине. У Киреевского было замечательно совестливое, интимное отношение к истине, являвшееся реакцией на бурно распространявшуюся в его время гордыню индивидуализма и честолюбия.

Да, конечно, честолюбие — стимул и великих дел, «зависть», как заметил еще Пушкин, «сестра соревнования». Вместе с тем многим современникам Киреевского становилось уже не по себе от тех перспектив, которые открывала «гордость ума». «Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке, — писал Гоголь. — Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком... Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня». Для Киреевского святыней был не «ум», но истина. Поступаясь самолюбием, он постоянно был готов к строгой проверке своих воззрений; теория он не составлял, а вынашивал, выстрадывал всю душу. Ибо «составить убеждение из различных систем нельзя, как вообще нельзя составить ничего живого. Живое рождается только из жизни».

Отсюда непредвзятость и объективность Киреевского, шокировавшие подчас его друзей-славянофилов. Когда А. С. Хомяков назвал однажды Грановского «противником», Киреевский с укоризной писал: «Если так, то не ошибаетесь ли вы и во мне?.. Славянофильский образ мыслей я разделяю только отчасти, а другую часть его считаю дальше от себя, чем самые эксцентрические мнения Грановского». Что стремился Киреевский отодвинуть «дальше от себя», сказать нетрудно: самодовольную провинциальность и замкнутость. Чем Киреевский был близок к лагерю Белинского и Грановского (при всех отличиях его социальных и художественных взглядов), тоже очевидно: стремлением сохранить в размышлениях о культуре широкий, общеевропейский контекст. До конца жизни критик решал проблему связи обоих начал — «своего» и «чужого», «народности» и «европеизма», стремясь найти их наиболее правильное, оптимальное соотношение.

Суждения Киреевского о русской народности поразительны: в них свойственная его критике задушевная мелодичность достигает своей высшей, проникающей силы. Это Киреевский сказал о Пушкине, что его отличают «живописность, какая-то беспечность, какая-то особенная задумчивость и, наконец, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу; ибо как назвать то чувство, которым дышат мелодии русских песен, к которому чаще всего возвращается русский народ и которое можно назвать центром его сердечной жизни?». Но при беспредельном уважении к национальной самобытности родного народа он писал о благотворном влиянии на русскую культуру немецкой философии, французского остроумия, «светлых и правильных звуков лиры греческой», итальянского артистизма (Киреевский так и сказал — «необходимость Италии» для России). «Нам нечего бояться утратить своей национальности», — писал критик и в то же время отмечал условия, при которых возникнет самобытное образование: национальное чувство должно быть просвещено до такой степени, когда «общевропейское совпадет с нашею особенностью». Конкретные рекомендации, к которым приходил Киреевский в славянофильский период своей деятельности, были спорными, подчас рискованными, но идея просвещения он оставался верен до конца.

Вот почему можно сказать, что в историю русской культуры Киреевский входит не только своей мыслью, но и своим интеллектуальным и этическим обликом. Всей своей яркой человеческой целостностью критик участвовал, как говорил Н. Г. Чернышевский, «в развитии стремлений благородных и полезных для нашего общества».

Ю. МАНН